

В. Г.  
БЕЛИНСКИЙ

*Сочинения*



Виссарион Григорьевич Белинский

## **<Стихотворения Е. Баратынского>**

Определяя историческое место Баратынского в русской поэзии, Белинский отмечает в нем «яркий, замечательный талант», и ставит его на «первое место» среди поэтов, вошедших в литературу вместе с Пушкиным. В качестве положительной черты критик отмечает преобладание в поэзии Баратынского мысли, которая «вышла не из праздной мечтающей головы, а из глубоко истерзанного сердца». Казалось, в Баратынском есть все, чего так не хватало и Майкову, и Полежаеву. И все же поэзия Баратынского во многом не удовлетворяет Белинского.

# Содержание

#1 .....	0005
Примечания .....	0082

**Виссарион Григорьевич  
Белинский  
<Стихотворения Е.  
Баратынского>**

*Сумерки. Сочинение Евгения Баратынского. Москва, 1842.*

*Стихотворения Евгения Баратынского. Две части. Москва, 1835.*

Пытливый дух исследования и анализа, по преимуществу характеризующий новейшую эпоху человечества, проник в таинственные недра земли и по ее слоям начертал историю постепенного формирования нашей планеты. Естествознание еще прежде, через классификацию родов и видов явлений трех царств природы, определило *моментальное* развитие духа жизни, {1} от низшей его формы – грубого минерала, до высшей – человека, существа разумно-сознательного. Все это богатство фактов, добытых опытным знанием, послужило к оправданию априорных воззрений на жизнь мирового духа и очевидно доказало, что жизнь есть развитие, а развитие есть переход из низшей формы в высшую, и, следовательно, что не развивается, то есть не изменяется в форме, пребывая в однообразной неподвижности, то не живет, то лишено плодотворного зерна органического развития, рождаясь и погибая чрез случайность и по законам случайности. Такое же зрелище представляют и исторические общества, ибо и они или существуют по тому же вечному закону развития, то есть переходения из низ-

ших форм жизни в высшие, или вовсе не существуют, потому что одно фактическое, одно эмпирическое существование, как лишенное разумной необходимости, следственно, случайное, равняется совершенному несуществованию: кто докажет теперь человеку непросвещенному и необразованному, что Греция и Рим существуют? – а между тем для человечества они и теперь существуют несомненно; кто не докажет всем и каждому, что Китай подлинно существует? – а между тем Китай все-таки существует для человечества меньше, чем китайский чай...

Внимательное исследование открывает, что и жизнь обществ, так же как и жизнь планеты, на которой они обитают, слагается из множества слоев, из которых каждый, в свою очередь, подобно разноцветным волнующимся лентам, отличается множеством слоистых пластов. Пласты эти – поколения, из которых каждое, удерживая в себе многое от предшествовавшего поколения, тем не менее и отличается от него собственным колоритом, собственным характером, собственной формой и собственной физиономией. Каж-

дое последующее поколение относится к предшествующему, как корень к зерну, стбель к корню, ствол к стеблю, ветвь к стволу, лист к ветви, цвет к листу, плод к цвету. Но это сравнение только относительно, только внешним образом верно и не обнимает сущности предмета; дерево совершает вечно однообразный круг развития: выходя из зерна, оно зерном вновь становится, чем и оканчивается вся органическая его деятельность. По новейшим открытиям, жизненная сила и прототип каждого растения заключаются не только в зерне, но и во всяком листке его: отпадая и разносясь ветром, листья вновь являются деревьями, и через них нагие степи покрываются лесами. Но от листа дуба и родится дуб, совершенно во всем подобный тому, от которого произошел, и тем дубам, которые сам произведет в свою очередь. Стало быть, здесь только повторение одного и того же типа во множестве одинаковых его проявлений; здесь, стало быть, то или другое дерево – явления совершенно случайные, а важна только идея рода дерева, который, возникши раз, вечно повторяет себя через однообразный

процесс органического развития. Не таково общество: никто не помнит его исторического начала, теряющегося в туманной дали бессознательного младенчества; никто не скажет, где конец его развития, ни того, что будет с ним завтра, судя по вчера. И между тем, хотя его *завтра* и всегда заключено в его *вчера*, однако *завтра* никогда не походит на *вчера*, если только общество живет *историческою*, а не одною *эмпирическою* жизнью.

Целый цикл жизни отжила наша Русь и, возрожденная, преображенная Петром Великим, начала новый цикл жизни. Первый продолжался более *восьми* веков; от начала второго едва прошло *одно* столетие: но, боже мой, какая неизмеримая разница в значении и объеме жизни, выраженных этими *восемью* веками и этим *одним* веком! Иногда в жизни одного человека бывает день такого полного блаженства и такого глубокого смысла, что перед этим днем все остальные годы жизни его, как бы многочисленны ни были, кажутся только мгновением какого-то темного, смутного и тяжелого сна. То же самое бывает и с народами; то же самое было и с Русью.



Здесь мы опять должны сделать оговорку, чтоб добрые люди, любящие толковать навыворот чужие мысли, не вздумали буквально понять нашего сравнения: единичный человек (индивидуум) и народ – не одно и то же, так же как и счастливый день в жизни человека и великая эпоха в истории народа – не одно и то же. Подвиг Петра Великого не ограничился днями его царствования, но совершался и после его смерти, совершается теперь и будет бесконечно совершаться в грядущих временах, и все в более громадных размерах, все в большем блеске и большей славе... И до Петра Великого текло время, и поколения сменялись поколениями; но эта смена состояла только в том, что старики умирали, а дети заступали их место на арене жизни, а не в живой последовательности живых идей. Поколение сменялось поколением, а идеи оставались все те же, и последующее поколение так же походило на предшествующее, как один листок походит на тысячи других листьев одного и того же дерева. Правнук венчался в нарядном кафтане прадеда, а внучка в той же телогрейке, в которой венчалась ее ба-

бушка, и все те же тут свахи, те же дружки, те же пиры и проч... Ход времени измерялся круговращением планеты, ее вечною весною, за которою всегда следовали лето, осень и зима, да еще лицами и именами, а не идеями, – случайными фактами, а не стройным развитием. Война или потрясала на время внешнее благоденствие государства, или укрепляла и расширяла его извне, а внутри все оставалось неизменным... Явился исполин преобразователь, привил к плодородной и девственной почве русской природы зерно европейской жизни, – и с небольшим в столетие Русь пережила несколько столетий. Развитие Руси и доселе носит на себе отпечаток могучего характера ее преобразования: она растет не по дням, а по часам, как ее сказочные богатыри. Из многих сторон возьмем ближайшую к предмету нашей статьи – литературу по отношению к обществу: давно ли завелась она у нас, а уже сколько слоев осталось на дне ее недавнего прошедшего, сколько поколений резко обозначилось в сфере ее движения! И теперь еще на Руси есть целая публика, хотя и небольшая, которая от всей души убеждена,

что Ломоносов «наших стран Малерб и Пиндару подобен», что Херасков – «наш Гомер, воспевший древни брани, России торжество, падение Казани», что Сумароков в притчах победил Лафонтена, а в трагедиях далеко оставил за собою и Корнеля, и Расина, и господина Вольтера, и что с этими тремя поэтами кончился цветущий век российской словесности. Поклонники Державина уже холоднее к ним, хотя все еще высоко ставят их в своем понятии: известно, что Державин с горестью признавался, «сколь трудно соединить плавность Хераскова с силою стихов Петрова». Вообще, до Карамзина особенно трудно проследить изменение литературных понятий в поколениях; но с Карамзиным начинается совершенно новая литература и совершенно новое общество: к стукотне громких од до того прислушались, что уж больше писали и хвалили их (и то по преданию), чем читали; плакали над «Бедною Лизою», твердили нежные стихи ее творца: «Пой во мраке тихой рощи, нежный, кроткий соловей», «Кто мог любить так страстно» и пр.; зачитывали до лоскутов книжки умно, ловко и талантливо.

во составляемого им «Вестника Европы»; в умных, прекрасно, по своему времени, обработанных стихах Дмитриева думали видеть бездну поэзии... Литературное поколение до Карамзина было *торжественное*: парад и иллюминация были неисчерпаемым источником его вдохновений, его громких од. Остроумный Дмитриев метко и ловко характеризовал это поколение в своей прекрасной сатире «Чужой толк». Следовавшее затем поколение было *чувствительное*: оно охало, проливалось токи слезны и воздыхало в стихах и прозе. Любовь заменила славу, миртовые венки вытеснили лавровые, горлицы своим *томным воркованием* заглушали громкий клетк орлов. Права на любовь состояли в нежности, в одной нежности. Счастливый любовник восклицал своей Хлое: «Мы желали – и свершилось!» Несчастный, от разлуки или от измены, кротко и умиленно говорил *милой* или *жестокой*:

*Две горленки укажут  
Тебе мой хладный прах,  
Воркуя томно, скажут:  
«Он умер во слезах!»{2}*

Нравственность при всем этом не забыва-

лась и шла своим путем. Для доказательства этого стоит только упомянуть о стократы-знаменитой песне: «Всех цветочков боле», которая оканчивается следующей сентенцией:

*Хлоя, как ужасен  
Этот нам урок!  
Сколь, увы, опасен  
Для красоты порок!{3}*

В этом чувствительном периоде русской литературы есть, конечно, своя смешная сторона, и над нею довольно посмеялись последовавшие затем периоды, воспроизводя его в «Эрастах чертополоховых» и тому подобных более или менее остроумных, более или менее плоских сатирах, как он сам в «Чужом толке» зло подтрунил над предшествовавшим ему торжественным периодом. Это круговая порука: в том и состоит жизненность развития, что последующему поколению есть что отрицать в предшествовавшем. Но это отрицание было бы пустым, мертвым и бесплодным актом, если б оно состояло только в уничтожении старого. Последующее поколение, всегда бросаясь в противоположную крайность, одним уже этим показывает и за-

слугу предшествовавшего поколения, и свою от него зависимость, и свою с ним кровную связь, ибо жизненная подвижность развития состоит в крайностях, и только крайность вызывает противоположную себе крайность. Результатом сшибки двух крайностей бывает истина; однакож эта истина никогда не бывает уделом ни одного из поколений, выразивших собою ту или другую крайность, но всегда бывает уделом третьего поколения, которое, часто даже смеясь над предшествовавшими ему торжественными и чувствительными поколениями, бессознательно пользуется плодом их развития, истинною стороною выраженной ими крайности; а иногда, думая продолжать их дело, творит новое, свое собственное, которое само по себе опять может быть крайностию, но которое тем выше и превосходнее кажется, чем больше воспользовалось истинною стороною труда предшествовавших поколений. Так, Жуковский — этот литературный Колумб Руси, открывший ей Америку романтизма в поэзии, повидимому, действовал, как продолжатель дела Карамзина, как его сподвижник, тогда как в са-

мом деле он создал свой период литературы, который ничего не имел общего с карамзинским. {4} Правда, в своих прозаических переводах, в своих оригинальных прозаических статьях и большей части своих оригинальных стихотворений Жуковский был не больше, как даровитый ученик Карамзина, шагнувший дальше своего учителя; но истинная, великая и бессмертная заслуга Жуковского русской литературе состоит в его стихотворных переводах из немецких и английских поэтов и в подражаниях немецким и английским поэтам. Жуковский внес романтический элемент в русскую поэзию: вот его великое дело, его великий подвиг, который так несправедливо нашими аристархами был приписываем Пушкину. Но Жуковский, насколько не зависимый от предшествовавших ему поэтов в своем самобытном деле введения романтизма в русскую поэзию, не мог не зависеть от них в других отношениях: на него не могла не действовать крепость и полетистость поэзии Державина, и ему не могла не помочь реформа в языке, совершенная Карамзиным. Карамзин вывел юный русский язык

на большую ровную дорогу из дебрей, тундр и избитых проселочных дорог славянизма, схоластизма и педантизма; он возвратил ему свободу, естественность, сблизил его с обществом. Но связь Карамзина и его школы (в которой после него первое и почетное место должен занимать Дмитриев) с Жуковским заключается не в одном языке: пробудив и воспитав в молодом и потому еще грубом обществе *чувствительность*, как *ощущение* (sensation), Карамзин, через это самое, приготовил это общество к *чувству* (sentiment), которое пробудил и воспитал в нем Жуковский. Как ни бесконечно неизмеримо пространство, отделяющее «Бедную Лизу», «Остров Борнгольм» Карамзина, его же и Дмитриева нежные и чувствительные песни и романсы от «Эоловой арфы», «Кассандры», «Ахилла», «Не узнавай, куда я путь склонила», «Орлеанской девы» Жуковского; но общество не поняло бы последних, если б не перешло через первые. И этот переход был тем естественнее, что у самого Жуковского были пьесы *посредствующие* для такого перехода, как-то: «Людмила», «Светлана», «Двенадцать спящих дев»,



«Пустынник», «Алина и Альсим» и т. п. Новый элемент, внесенный Жуковским в русскую литературу, был так глубоко знаменателен, что не мог ни быть скоро понят, ни произвести скорых результатов на литературу, и потому Жуковского величали балладником, певцом могил и привидений, – а подражатели его наводняли и книги и журналы чудовищными кладбищными балладами, – в чем и заключается смешное этого периода русской литературы. Впрочем, Жуковский так же виноват в смешном этого периода, как Шекспир в уродливых и нелепых немецких трагедиях Грильпарцера, Раупаха, Шенка и подобных им. Кроме того, надо заметить, что смысл поэзии Жуковского обозначился для общества позднее, уже при Пушкине, а до тех пор, особенно при начале поприща Жуковского, литература русская представляла собою смешение разных элементов, новое и старое, дружно действовавшее: Капнист допевал свои длинные элегические рассуждения в стихах; Озеров сделал из французской трагедии все, что можно было сделать из нее для России, и в лице его французский псевдоклас-

сицизм совершил на Руси полный свой цикл, так что Озеров был у нас последним даровитым его представителем; Крылов продолжал создание народной басни; Пушкин (Василий) считался одним из знаменитейших поэтов, Батюшков, как талант сильный и самобытный, был неподражаемым творцом своей особенной поэзии на Руси; князь Вяземский был творцом особенной, так называемой светской поэзии и по справедливости почитался лучшим критиком своего времени, блестящим, живым и не связанным классическою схоластикой, которая так много повредила критическому влиянию Мерзлякова на общество. С появлением Пушкина все изменилось, и новое поколение резче чем когда-либо отделилось от старого. Между прочими элементами начал проникать в русскую литературу элемент исторический и сатирический, в котором выразилось стремление общества к самосознанию. Пользуясь этим направлением времени, некоторые ловкие литературщики с успехом пустили в ход разные нравоописательные, нравственно-сатирические и исправительно-исторические романы и повести,

которые будто бы изображали Русь, но в которых русского было – одни собственные имена разных соведдралов и резонеров.{5} Но тут были и достойные уважения исключения, из которых самое яркое – романы и повести талантливое, но не развившегося Нарезного. В Гоголе это направление нашло себе вполне достойного и могучего представителя.

Но мы здесь пишем не историю русской литературы, а только слегка обозначаем моментальную последовательность общественного развития, которое в каждом поколении имело своего представителя. Еще и теперь есть люди, которые с восторгом повторяют монологи из «Димитрия Самозванца» и «Хорева» и даже печатают восторженные книжки о поэтическом гении Сумарокова:{6} эти люди – утлые остатки некогда юного, живого и многочисленного поколения: в их хриплом старческом голосе, в их запоздалых восторгах слышится голос невозвратно прошедшего для нас времени. Другие вздыхают о «Титовом милосердии», «Рославле» и «Сбитеньщике» Княжнина, говоря про себя: «Что теперь пишут – и читать нечего!» Третьи со слезами на

глазах, но уже не споря, говорят равнодушно-  
му новому поколению о том, что после «Эди-  
па», «Димитрия Донского», «Поликсены» и  
«Фингала»{7} незачем и ездить в театр. Есть  
люди, для которых русская поэзия умерла с  
Ломоносовым и Державиным и которые хотя  
не оспаривают заслуг Жуковского, однако и  
неохотно говорят о них. Есть люди, которые  
не иначе могут восхищаться Жуковским, как  
отрицая всякое поэтическое достоинство в  
Пушкине. Но сколько теперь таких, которые,  
юношами встретив первые опыты таланта  
Пушкина, остановились на Пушкине, не в си-  
лах ни на шаг двинуться вперед, и откровен-  
но признаются, что не видят ничего особен-  
ного и необыкновенного в Гоголе. Другие же,  
которых первые создания Гоголя застали еще  
в поре юности, в поре живой и быстрой вос-  
приимлемости впечатлений и способности  
умственного движения, — высоко ценят и  
Пушкина и Гоголя; но даже и не подозревают  
существенного значения Лермонтова. Это,  
впрочем, не значит, чтоб они не признавали  
в Лермонтове таланта: нет, кто от поэзии  
Пушкина перешел через поэзию Гоголя, тот

уже поневоле видит дальше и глубже людей, остановившихся на Пушкине, и не может не восхищаться опытами Лермонтова; но восхищаться поэтом и понимать его – это не всегда одно и то же... И все эти поклонники разных мнений живут в одно и то же время, разделяясь на пестрые группы представителей и прошедших уже, и проходящих, и существующих еще поколений... И их существование есть признак жизни и развития общества, в которое царственный преобразователь-зиждатель вдохнул душу живую, да живет вечно!.. и чем больше количество, чем пестрее разнообразие представителей прошедших вкусов и мнений, тем ярче и поразительнее выказывается жизненность общественного развития. *Отсталые* могут возбуждать сожаление и страдание, как люди заживо умершие, как дряхлый старец, окруженный одними могилами милых ему существ, живущий одними воспоминаниями о невозвратно прошедшей поре счастья, чуждый и холодный для всех надежд и обольщений, которыми кипят не родные ему новые поколения; но едва ли справедливо было бы презирать этих *отста-*

лых, а тем более обвинять их. Благо тому, кто отличенный Зевеса любовью, неугасимо носит в сердце своем прометеев огонь юности, всегда живо сочувствуя свободной идее и никогда не покоряясь оцепеняющему времени или мертвящему факту, – благо ему: ибо эта божественная способность нравственной подвижности есть столько же редкий, сколько и драгоценный дар неба, и немногим избранным ниспосылается он! Прочувствовать великого поэта, вполне выразившего собою момент общественного развития, – это значит пережить целую жизнь, принять в себя целый, отдельный и самобытный мир мысли, следовательно, дать своему нравственному существованию особенную настроенность, отлить дух свой в особую форму. И потому только слишком глубокая и сильная натура способна бывает принимать в себя все, ничем не переполняясь, и носить в груди своей целые миры, всегда жаждая новых. По большей части людям трудно отрываться от того, что раз наполнило их, раз овладело ими, и они враждебно, как на ересь, смотрят на то, что наполняет и владеет уже чуждыми им поко-

лениями. Всякая литература не без живых примеров в этом роде. Так иной пожилой критик, *сi-devant*[1] поборник *высших взглядов* и новых идей, а теперь отсталой обскурант, так же точно и теми же словами нападает на нового великого поэта и его почитателей, как некогда нападали люди старого поколения на прежнего великого поэта и его почитателей...{8} Он и не подозревает, что он повторяет жалкую роль тех самых людей, которых некогда, может быть, он первый заклеил именем «отсталых», что он теперь бросает в молодое поколение тою же грязью, которою некогда швыряли в него классические парики, и что, подобно им, он только себя марает этою грязью... Такое зрелище может возбуждать лишь болезненное сострадание – больше ничего.

На такие мысли навела нас маленькая книжка г. Баратынского, названная им «Сумерками». Все, сказанное нами, – несколько ни отступление от предмета статьи, ни вступление с *яиц Леды*: нет, эти мысли возбудила в нас поэтическая деятельность г. Баратынского, и под влиянием этих мыслей хотим мы

рассмотреть ее критически. Кто скоро едет, тому кажется, что он стоит, а все мимо его мчится: вот почему России и не заметен ее собственный ход, между тем как она не только не стоит на одном месте, но, напротив, движется вперед с невероятною быстротою. Эта быстрота движения выразилась и в литературе. Голова кружится, когда подумаешь о расстоянии, которое разделяет предпрошлое десятилетие (1820–1830) от прошлого (1830–1840), а прошлое десятилетие от этих двух протекших лет настоящего! Подлинно скажешь:

*Свежо предание, а верится с трудом!*

Давно ли было это наводнение альманахов, которое затопило было все библиотеки; давно ли издавался «Телеграф», которого мнения были так *новы* и *глубоки* и который так справедливо величался своим чрезвычайным расходом, опираясь на 1200 постоянных подписчиков? Давно ли литература наша гордилась таким множеством (увы! забытых теперь) знаменитостей, которые были потому



велики, что одна написала плохую романтическую трагедию и дюжину водяных элегий; другая – издала альманах, третья – затеяла листок, четвертая напечатала отрывок из неоконченной поэмы, пятая тиснула в приятельском журнале несколько невинных и довольно приятных рассказов?.. Давно ли Марлинский был гением? Давно ли повести не только г. Полевого, – но и г. Погодина считались необходимым украшением и альманаха и журнала? Давно ли на «Ивана Выжигина» {9} смотрели чуть-чуть не как на гениальное сочинение? Давно они наводят на грустную думу о непостоянстве сего треволненного мира...

Нет; еще один вопрос! Давно ли г. Баратынский, вместе с г. Языковым, составлял блестящий триумвират, главою которого был Пушкин? А между тем как уже давно одинокою стоит колоссальная тень Пушкина и, мимо своих современников и сподвижников, подаст руку поэту нового поколения, которого талант застал и оценил Пушкин еще при жизни своей!.. Давно ли каждое новое стихотворение г. Баратынского, явившееся в альманахе,

возбуждало внимание публики, толки и споры рецензентов?.. А теперь тихо, скромно появляется книжка с последними стихотворениями того же поэта – и о ней уже не говорят и не спорят, о ней едва упомянули в каких-нибудь двух журналах, в отчете о выходе разных книг, стихотворных и прозаических... Да не подумают, что мы этим хотим сказать, что дарование г. Баратынского незначительно, что оно пользовалось незаслуженною славою: нет, мы далеки от подобного мнения; мы высоко уважаем яркий, замечательный талант поэта уже чуждого нам поколения, и потому именно, что уважаем его, хотим, в обозрении его поэтической деятельности показать, почему его произведения, будучи и теперь изящными, как и всегда были, уже не имеют теперь той цены, какую имели прежде.

Такие явления всегда имеют две причины: одна заключается в степени таланта поэта, другая в духе эпохи, в которую действовал поэт. Никто не может стать выше средств, данных ему природою; но исторический и общественный дух эпохи или возбуждает природ-

ные средства действителя до высшей степени свойственной им энергии, или ослабляет и парализирует их, заставляя поэта сделать меньше, чем бы он мог. Отношения поэта к его эпохе бывают двойки: или он не находит в ее сфере жизненного содержания для своего таланта, или, не следя за современным духом, он не может воспользоваться тем жизненным содержанием, какое могла бы представить его таланту эпоха. В каждом из этих случаев результат один – безвременный упадок таланта и безвременная утрата справедливо стяжанной славы. Открытие причин такого печального конца блестящим образом начатого поприща не принесет пользы поэту, о котором идет дело; но уроки прошедшего полезны для настоящего и будущего, и одна из обязанностей основательной критики – обращать внимание на такие уроки.

Было время, когда русская критика состояла из заметок об отдельных стихах. «Какой гармонический стих! как удачно воспользовался поэт звукоподражанием: в этом стихе слышен рокот грома и завывание ветра! Но следующий затем стих оскорбляет слух како-

фониею и притом после отрицательной частицы *не* поставлен винительный падеж вместо родительного. А вот в этом стихе и ударения неправильны и усечения многочисленны; конечно, *пиитические вольности* дозволяются стихотворцам, но они должны иметь свои границы. Как удачно вот в этом стихе выражена нежность пастушки и сколько простодушия и невинности в ее ответе!» Так или почти так критиковали поэтов наши аристархи доброго старого времени. С двадцатых годов текущего столетия стали критиковать иначе. Вместо филологических, грамматических и просодических заметок, вместо похвал или порицаний отдельно взятым стихам стали делать эстетические замечания на *отдельные места* поэтического произведения: такой-то характер выдержан, а такой-то не выдержан, такое-то место поразительно своим драматизмом или своим лиризмом, а такое-то слабо и т. п. Эта критика была большим шагом вперед; но теперь и она неудовлетворительна. Теперь требуют от критики, чтоб, не увлекаясь частностями, она оценила целое художественного произведения, рас-

крыв его идею и показав, в каком отношении находится эта идея к своему выражению и в какой степени изящество формы оправдывает верность идеи, а верность идеи способствует изяществу формы. Если же дело идет о целой поэтической деятельности поэта, то от современной критики требуют не восклицаний вроде следующих: «Сколько души и чувства в этой элегии г. N., сколько силы и глубокости в этой его оде, какими поразительными положениями изобилует его поэма, как верно выдержаны характеры в его драме!» Нет, от современной критики требуют, чтоб она раскрыла и показала дух поэта в его творениях, проследила в них преобладающую идею, господствующую думу всей его жизни, всего его бытия, обнаружила и сделала ясным его внутреннее созерцание, его пафос. Если мы скажем, что преобладающий характер поэзии г. Баратынского есть *элегический*, то скажем истину, но этим еще ничего не объясним, ибо характер чьей бы то ни было поэзии еще не составляет ее сущности, как физиономия не составляет сущности человека, хотя и намекает на нее. Чтоб объяснить то и другое,

должно раскрыть идею и в ней найти причину и разгадку характера и физиономию. Что такое *элегический тон* в чьей бы то ни было поэзии? – грустное чувство, которым проникнуты создания поэта. Но чувство само по себе еще не составляет поэзии: надо, чтоб чувство было рождено идеею и выражало идею. Бесмысленные чувства – удел животных; они унижают человека. К чести г. Баратынского должно сказать, что *элегический тон* его поэзии происходит от думы, от взгляда на жизнь и что этим самым он отличается от многих поэтов, вышедших на литературное поприще вместе с Пушкиным. Рассмотрим же *идею*, которая проникает собою создания г. Баратынского и составляет пафос его поэзии. Возьмем для этого одно из лучших, хотя и позднейших его произведений – «Последний поэт». В этой пьесе поэт высказался весь, со всею тайною своей поэзии, со всеми ее достоинствами и недостатками. Разберем же ее всю от слова до слова.

*Век шествует путем своим же-  
лезным,  
В сердцах корысть, и общая меч-*

*та  
Час от часу насущным и полез-  
ным  
Отчетливей, бесстыдней занята.  
Исчезнули при свете просвещения  
Поэзии ребяческие сны,  
И не о ней хлопочут поколенья,  
Промышленным заботам преда-  
ны.*

По этой энергии и поэтической красоте стихов уж тотчас видно, что поэт выражает свое *profession de foi*[2], передает огненному слову давно накипевшие в груди его жгучие мысли... Настоящий век служит исходным пунктом его мысли; *по нем* он делает заключение, что близко время, когда проза жизни вытеснит всякую поэзию, высохнут растленные корыстию и расчетом сердца людей, и их верованием сделается «насущное» и «полезное»... Какая страшная картина! Как безотрад-но будущее! Поэзии более нет. Куда же девалась она? – *исчезла при свете просвещения*... Итак, *поэзия* и *просвещение* – враги между собою? Итак, только *невежество* благоприятно *поэзии*? Неужели это правда? Не знаем: так думает поэт – не мы... Впрочем, поэт говорит

не о поэзии, но о *ребяческих снах поэзии*, а это – другое дело! Но посмотрим, как разовьется далее мысль поэта.

*Для ликующей свободы  
Вновь Эллада ожила,  
Собрала свои народы  
И столицы подняла:  
В ней опять цветут науки,  
Дышит роскошь, блещет вкус;  
Но не слышны лиры звуки  
В первобытном рае муз!  
Блестит зима дряхлеющего ми-  
ра,  
Блестит! Суров и бледен человек:  
Но зелены в отечестве Омира  
Холмы, леса, берега лазурных рек;  
Цветет Парнас! пред ним, как в  
оны годы,  
Кастальский ключ живой струею  
бьет;  
Нежданный сын последних сил  
природы,  
Возник поэт: идет он и поет.*

Теперь любопытно, о чем он поет; любопытно потому особенно, что в его песне ясно должна высказаться мысль автора этой пье-



СЫ.

*Воспеваает простодушный  
Он любовь и красоту,  
И науки, им ослушной,  
Пустоту и суету;  
Мимолетные страданья,  
Легкомыслием целя,  
Лучше, смертный, в дни незнанья.  
Радость чувствует земля!*

А, вот что! теперь мы понимаем! *Наука ослушна* (то есть непокорна) *любви*, и *красоте*; *наука пуста* и *суетна!*.. Нет страданий глубоких и страшных, как основного, перво-сущного звука в аккорде бытия, страдание мимолетно – его должно исцелять легкомыслием; в дни незнания (то есть невежества) земля лучше чувствует радость!..

Это стихотворение написано в 1835 году от Р. Х.!..

Как жаль, что люди не знают языка, например, *птичьего*: какие должны быть удивительные поэты между птицами! Ведь птицы не знают глубоких страданий – их страдания мимолетны, и они целят их не только легкомыслием, но даже и совершенным бессмыс-

лием, что для поэзии еще лучше; а о науках птицы и не слыхивали, стало быть, и понятия не имеют о пустоте и суете наук; что же касается до *незнания* – птицы ушли дальше его, – они пребывают в решительном *невежестве*... Какие благоприятные обстоятельства для поэзии, и как жаль, что, по незнанию птичьего языка, мы незнакомы с птичьей поэзией!..

Но полно, прав ли поэт в своей основной мысли? Полно, невежеством ли сильна поэзия? По крайней мере до сих пор известно всему грамотному свету, что сильнейшее развитие изящных искусств совершалось только у просвещеннейших народов мира – греков, римлян, итальянцев, англичан, французов и немцев, а не у чукчей, коряков и самоедов...

*Поклонникам Урании холодной  
Поэт, увы! он благодать страстей:*

*Как пажити Эол бурнопогодный,  
Плодотворят они сердца людей;  
Живительным дыханием разви-  
та,*

*Фантазия подьемлетя от них,  
Как некогда возникла Афродита  
Из пенистой пучины волн мор-*

ских.  
*И зачем не предадимся  
Снам улыбчивым своим?  
Жарким сердцем покоримся  
Думам хладным, а не им?  
Верьте сладким убежденьям  
Вас ласкающих очес  
И отрадным откровеньям  
Сострадательных небес!*

Какие чудные, гармонические стихи! Не грех ли заставить их выражать такие неосновательные мысли? И удивительно ли, что —

*Суровый смех ему ответом; пер-  
сты  
Он на струнах своих остановил,  
Сомкнул уста вещать полуотвер-  
сты (?),  
Но гордые главы не преклонил:  
Стопы свои он в мыслях направ-  
ляет  
В немую глушь, в безлюдный край;  
но свет  
Уж праздного вертепа не являет,  
И на земле уединенья нет!*

Сила грустного чувства словно молния проблеснула в последних стихах этого купле-

та: видно, что мысль стихотворения явилась в скорбях рождения! Видно, что она вышла не из праздно мечтающей головы, а из глубоко растерзанного сердца... И тем не менее все-таки она – ложная мысль!

*Человеку непокорно  
Море синее одно:  
И свободно, и просторно,  
И приветливо оно;  
И лица не изменило  
С дня, в который Аполлон  
Поднял вечное светило  
В первый раз на небосклон...*

Эти стихи так хороши, так хороши, что напоминают собою строфы, переведенные Жуковским из стихотворений Шиллера, посвященных древнему миру.

*Оно шумит перед скалой Левкада.  
На ней певец, мятежной думы  
полн,  
Стоит... в очах блеснула вдруг  
отрада:  
Сия скала... тень Сафо!.. голос  
волн...  
Где погребла любовница Фаона  
Отверженной любви несчастный*

*жар,  
Там погребет питомец Аполлона  
Свои мечты, свой бесполезный  
дар!*

Именно – бесполезный дар!..

*И попрежнему блистает  
Хладной роскошью свет:  
Серебрит и позлащает  
Свой безжизненный скелет;  
Но в смущении приводит  
Человека глас морской,  
И от шумных вод отходит  
Он с тоскующей душой!*

Опять повторяем: какие дивные стихи! Что, если бы они выражали собою истинное содержание! О, тогда это стихотворение казалось бы произведением огромного таланта! А теперь, чтоб насладиться этими гармоническими, полными души и чувства стихами, надо сделать усилие: надо заставить себя стать на точку зрения поэта, согласиться с ним на минуту, что он прав в своих воззрениях на поэзию и науку; а это теперь решительно невозможно!.. И оттого впечатление ослабевает, удивительное стихотворение кажется

обыкновенным...

Бедный век наш – сколько на него нападок, каким чудовищем считают его! И все это за железные дороги, за пароходы – эти великие победы его, уже не над материей только, но над пространством и временем! Правда, дух меркантильности уже чересчур овладел им; правда, он уже слишком низко поклоняется золотому тельцу; но это отнюдь не значит, чтоб человечество дряхлело и чтоб наш век выражал собою начало этого дряхления: нет, это значит только, что человечество в XIX веке вступило в переходный момент своего развития, а всякое переходное время есть время дряхления, разложения и гниения. И пусть за этим дряхлением последует смерть – что нужды! Человечество совсем не то, что человек: умирая, человек уже не существует более на земле; но человечество, как идеальная личность, составляющаяся из миллионов реальных личностей, которые если и убывают, зато и прибывают, – человечество старым и дряхлым умирает на земле для того, чтоб на земле же воскреснуть юным и крепким. Уже не раз оно было и младенцем, и юношею, мужем и

старцем, умирало и воскресало, подобно фениксу, из собственного своего пепла. Разве последние дни древнеязыческого мира, дни от царствования Августа почти до царствования Августула, не были днями разложения, гниения и смерти, и разве за ними не последовало воскресения и нового младенчества человечества? Разве последовавшие потом девять столетий не были эпохою пылкой юности человечества, а с пятнадцатого века не вступило оно в свой возраст мужества? Восемнадцатый век был веком его старости... А сколько было частных смертей, означивших собою эпоху перелома и возрождения? И разве не были эпохами смерти крестовые походы, когда вся Европа в ужасе ожидала страшного суда и все народы ее двинулись в Азию, чтобы в своей колыбели найти и свой гроб; или тридцатилетняя война, когда выжженная, обгорелая Германия походила на разграбленный стан?.. Итак, думать, что человечество когда-нибудь умрет и что наш век есть его предсмертный век, — значит не понимать, что такое человечество, значит не иметь высокой веры в его высокое значение... Если наш век и индустри-

ален по преимуществу, это нехорошо для нашего века, а не для человечества: для человечества же это очень хорошо, потому что через это будущая общественность его упрочивает свою победу над своими древними врагами – материю, пространством и временем. При этом не худо не забывать, что наш индустриальный век гордо называет своими сынами Гёте, Бетховена, Байрона, Вальтера Скотта, Купера, Беранже и многих других художников. Неужели же это все *последние поэты?*.. Много же их!.. Мы еще понимаем трусливые опасения за будущую участь человечества тех недостаточно верующих людей, которые думают предвидеть его гибель в индустриальности, меркантильности и поклонении тельцу златому; но мы никак не понимаем отчаяние тех людей, которые думают видеть гибель человечества в *науке*. Ведь человеческое знание состоит не из одной *математики* и *технологии*, ведь оно прилагается не к одним железным дорогам и машинам... Напротив, это только одна сторона знания, это еще только низшее знание, – высшее объемлет собою мир нравственный, включает в об-



ласти своего ведения все, чем высоко и свято бытие человеческое, все, что составляет достоинство и величие имени человеческого, все те великие вопросы, которые присущны самой натуре человека, с которым он рождается и которые носит в груди своей... Кроме математики и технологии, есть еще философия и история – одна как наука развития в мышлении довременных и бесплотных идей, другая – как наука осуществления в фактах, в действительности, развития этих довременных идей, таинственных и первосущных материй всего сущего, всего рождающегося и умирающего и, несмотря на то, вечно живущего!..

Нам, может быть, скажут, что стихотворение не есть философская система и что особенно по одному стихотворению нельзя заключать о мыслительном воззрении поэта на мир. На первое мы дадим ответ ниже; вместо же ответа на второе перейдем к другим стихотворениям г. Баратынского: они ответят за нас.

Пока человек естества не пытал  
Горнилом, весами и мерой;

Но детски вещаньям природы  
внимал.

Ловил ее знаменья с верой;  
Покуда природу любил он, она  
Любовью ему отвечала,  
О нем дружелюбной заботы пол-  
на,

Язык для него обретала.  
Почуя беду над его головой,  
Вран каркал ему в опасенье,  
И замысла, в пору смирясь пред  
судьбой,

Воздерживал он дерзновенье.  
На путь ему выбежал из лесу  
волк,

Крутясь и подъямля щетину,  
Победу пророчил, и смело свой  
полк

Бросал он на вражью дружину.  
Чета голубиная, вея над ним,  
Блаженство любви прорицала:  
В пустыне безлюдной он не был  
одним,

Не чуждая жизнь в ней дышала.  
Но чувство презрев, он доверил  
уму;

Вдался в суету изысканий...  
И сердце природы закрылось ему,

## И нет на земле прорицаний!{10}

Коротко и ясно: все наука виновата! Без нее мы жили бы не хуже ирокезов... Но хорошо ли, но счастливо ли живут ирокезы без науки и знания, без доверенности к уму, без суеты изысканий, с уважением к чувству, с томагоуком в руке и в вечной резне с подобными себе? Нет ли и у них, у этих счастливых, этих блаженных ирокезов, своей суеты *испытаний*, нет ли у них своих понятий о чести, о праве собственности, своих мучений честолюбия, славолюбия? И всегда ли вран успева-ет предостерегать их от беды, всегда ли волк пророчит им победу? Точно ли они – невинные дети матери-природы?.. Увы, нет, и тысячу раз нет!.. Только животные бессмысленные, руководимые *одним* инстинктом, живут в природе и природою. Дикарь-человек татуирует свое тело, пронзает свои ноздри и уши (в последнем недалеко ушел от него и просвещенный европеец, по крайней мере в лице своего прекрасного пола, – знак, что еще много ему работы для освобождения себя от первобытного варварства), пронзает свои ноздри и уши, чтоб украшать их блестящими привес-

ками: варварство и грубость – без сомнения; но уже этим самым варварством он стоит выше животного. Животное рождается готовым; чего не вырастет на нем, того не приделает оно себе искусственно; оно не может сделаться ни лучше, ни хуже того, каким создала его природа. Человек бывает животным только до появления в нем первых признаков сознания; с этой поры он отделяется от природы и, вооруженный искусством, борется с нею всю жизнь свою. Это мы видим на дикарях: они те же люди, что и просвещенные европейцы, и существенное их различие от последних заключается только в том, что их искусственность неразумна: озарите их светом разума, и они свое татуирование заменят одеждой, то есть ложную искусственность заменят истинною. Но в самых дикостях и нелепостях этих несчастных детей природы видно уже порывание выйти из оков природы, порывание от инстинкта к разуму. В XVIII веке величайшие умы были склонны видеть в дикарях образец неиспорченной человеческой природы; тогда эта мысль, вызванная крайностию гнившего в ложной искусственности евро-

пейского общества, была и нова и блестяща. В XIX веке эта мысль и стара и пошла:

*Все мысль, да мысль! Художник  
бедный слова!  
О жрец ее! Тебе забвенья нет;  
Все тут, да тут, и человек и свет,  
И смерть, и жизнь, и правда без  
покрова.  
Резец, орган, кисть! счастлив,  
кто влеком  
К ним чувственным, за грань их  
не ступая!  
Есть хмель ему на празднике зем-  
ном!{11}  
Но пред тобой, как пред нагим  
мечом,  
Мысль, острый луч! бледнеет  
жизнь земная!*

И это понятие об отношении мысли к искусству совершенно гармонирует с понятием г. Баратынского об отношении ума к чувству, науки к жизни. Что такое искусство без мысли? – то же самое, что человек без души – труп... И почему разум и чувство – начала враждебные друг другу? Если они враждебны, то одно из них – лишнее бремя для человека.

Но мы видим и знаем, что глупцы бывают лишены чувства, а бесчувственные люди не отличаются умом. Мы видим и знаем, что преимущественное развитие чувству насчет ума делает человека, самым счастливым образом одаренного от природы, или фанатиком-зверем, или старою бабою, суеверною и слабоумною; так же, как один ум без чувства делает человека или безнравственным существом, эгоистом, или сухим диалектиком, безжизненным педантом, который во всем видит одни логические формальности и ни в чем не видит души и содержания. Очевидно, что разум и чувство – две силы, равно нуждающиеся друг в друге, мертвые и ничтожные одна без другой. Чувство и разум – это земля и солнце: земля в своих таинственных недрах скрывает растительную силу и все зародыши плодов своих, солнце возбуждает ее растительную силу – и радостно рвутся на свет его из темной роковой страны зеленеющие стебли ее порождений... Так в груди человека – в этом подземном царстве темных предчувствий и немых ощущений, скрываются, словно в земле, корни всех наших живых стрем-

лений и страстных помыслов; но только свет разума может и развивать, и крепить, и просветлять эти ощущения и чувства до мысли, — без него они остаются или животным инстинктом, или дикими страстями, черными демонами, устрояющими гибель человека... Чувство в свою очередь есть действительность разума, как тело есть реальность души: без чувства идеи холодны, светят, а не греют, лишены жизненности и энергии, неспособны перейти в дело. Итак, полнота и совершенство человеческой природы заключается в органическом единстве разума и чувства. Горе дому, который разделяется сам на себя; горе человеку, в котором чувство восстанет на разум или разум восстанет на чувство! И однакож это горе неизбежное, необходимое, и мертв, ничтожен тот человек, который не испытал его! Чувство по натуре своей стремится к положению, любит останавливаться на положительных результатах; разум контролирует положения чувства и, если не найдет их основательными, отрицает их. Отсюда происходит мука сомнения. Но без этого сомнения человек, остановившись раз на известном по-

ложении, и закоснел бы в нем, не двигаясь вперед, следовательно, не развиваясь, – не делался бы из младенца отроком, из отрока юношей, из юноши мужем, из мужа старцем, но до смерти своей оставался бы младенцем. Дух сомнения гонит человека от одного определения к другому, – и благо тому, кто сомневался в известных истинах, не сомневаясь в существовании истины, ибо истины преходящи, но истина вечна!

Помнится нам, г. Баратынский где-то сказал что-то вроде следующей мысли: положение поэта трудно потому, что в одно и то же время он находится под противоположным влиянием огненной творческой фантазии и обливающего холодом рассудка. Мысль, не скажем несправедливая, но не точная: обливающий холодом рассудок действительно входит в процесс творчества, но когда? – в то время, когда еще поэт вынашивает в себе конструирующееся свое творение, следовательно, прежде, нежели приступить к его изложению, ибо поэт излагает уже готовое произведение. Разумеется, здесь должно предполагать высшие таланты, потому что только низ-



шие сочиняют с пером в руке, еще не зная сами, что сочиняют они, или затрудняются в выражении собственных идей. Истинный поэт тем и велик, что свободно дает образ каждой глубоко прочувствованной им идее, выражает словом постижимое для одного ума и невыразимое для каждого, кто не поэт.

Этот несчастный раздор мысли с чувством, истины с верованием составляет основу поэзии г. Баратынского, и почти все лучшие его стихотворения проникнуты им. В одном из них ему предстает в горькую минуту истина и обещает успокоить путем холодного бесстрастия. Она говорит поэту:

*Пускай со мной ты сердца жар погубишь,  
Пускай, узнав людей,  
Ты, может быть, испуганный,  
разлюбишь  
И ближних и друзей.  
Я бытия все прелести разрушу,  
Но ум наставляю твой,  
Я оболью суровым хладом душу,  
Но дам душе покой.*

Поэт в трепете отказывается от страшного

дара неземной гостьи; но в заключение просит его у ней так:

*... Когда мое светило  
Во звездной вышине  
Начнет бледнеть, и все, что сердцу мило,  
Забуть придется мне,  
Явись тогда! открой мне очи, {12}  
Мой разум просвети,  
Чтоб, жизнь презрев, я мог в обитель ночи  
Безропотно сойти.*

Так, в другом стихотворении поэт окрыляет надеждами обольщений безумную юность, но, обращаясь к знающим, говорит:

*Но вы, судьбину испытавшие,  
Тщету надежд, печали власть,  
Вы, знанье бытия приявшие  
Себе на тягостную часть!  
Гоните прочь их рой прельстительный;  
Так! доживайте жизнь в тиши,  
И берегите хлад спасительный  
Своей бездейственной души.  
Своим бесчувствием блаженные,  
Как трупы мертвых из гробов,*

*Волхвы, словами пробужденные,  
Встают со скрежетом зубов;  
Так вы, согрев в душе желания,  
Безумно вдавшись в их обман,  
Проснетесь только для страда-  
ния,  
Для боли новой прежних ран.*

Большое, отличающееся превосходными стихами стихотворение «Последняя смерть» есть апофеоза всей поэзии г. Баратынского. В нем вполне выразилось его мирозерцание. Поэт представляет в яркой картине кипящий жизнь мир; потом, в другой картине, увядание мира, а в третьей —

*Прошли века, и тут моим очам  
Открылася ужасная картина:  
Ходила смерть по суше, по водам,  
Свершалася живущего судьбина.  
{13}  
Где люди, где? скрывались в гроб-  
бах!  
Как древние столпы на рубежах  
Последние семейства истлевали;  
В развалинах стояли города,  
По пажитям загложнувшим  
блуждали*

*Без пастырей безумные стада;  
С людьми для них исчезло пропитанье:*

*Мне слышалось их гладное бляенье.*

*И тишина глубокая во след  
Торжественно повсюду воцарилась,*

*И в дикую порфиру древних лет  
Державная природа облачилась.  
Величествен и грустен был позор  
(?)*

*Пустынных вод, лесов, долин и гор.*

*Попрежнему животворя природу,  
На небосклон светило дня взошло;*

*Но на земле ничто его восходу  
Произнести привета не могло:  
Один туман, над ней синяя, вился  
И жертвою очистительной ды-  
мился.*

Великолепная фантазия, но не более, как фантазия! И главный ее недостаток заключается в том, что она везде является черным демоном поэта. Жизнь как добыча смерти, разум как враг чувства, истина как губитель

счастья – вот откуда проистекает элегический тон поэзии г. Баратынского и вот в чем ее величайший недостаток. Здание, построенное на песке, недолговечно; поэзия, выразившая собою ложное состояние переходного поколения, и умирает с тем поколением, ибо для следующих не представляет никакого сильного интереса в своем содержании. Мало того: сделавшись органом ложного направления, она лишается той силы, которую мог бы сообщить ей талант поэта.

Конечно, этот раздор мысли с чувством явился у поэта не случайно, – он заключался в его эпохе. Кто не знает и не помнит пушкинского Демона? Пушкин, как первый великий поэт русский, которого поэзия выходила из жизни, первый и встретился с демоном. «Печальны были наши встречи!» – восклицает он о своем демоне.

*Его улыбка, чудный взгляд,  
Его язвительные речи  
Вливали в душу хладный яд.  
Неистоимый клеветой  
Он провиденье искушал;  
Он звал прекрасное мечтою;*

*Он вдохновень презирал;  
Не верил он любви, свободе,  
На жизнь насмешливо глядел —  
И ничего во всей природе  
Благословить он не хотел.*

В самом деле, это страшный демон, особенно для первого знакомства! Впрочем, он опасен не тем, что он на самом деле, а тем, чем он может показаться человеку. Люди имеют слабость смешивать свою личность с истинною: усомнившись в своих истинах, они часто перестают верить существованию истины на земле. Вот тут-то демон и бывает опасен, тут-то он и губит людей. От него может спасти человека только глубокая и сильная, живая вера. Пусть он во всем разочаровался, пусть все, что любил и уважал он, оказалось недостойным любви и уважения, пусть все, чему горячо верил он, оказалось призраком, а все, что думал знать он, как непреложную истину, оказалось ложью, — но да обвиняет он в этом свою ограниченность или свое несчастье, а не тщету любви, уважения, веры, знания! Пусть самое отчаяние его в тщете истины будет для него живым свидетельством его жаж-

ды истины, а его жажда – живым свидетельством существования истины: ибо чего нет, о том несродно страдать человеческой натуре. Пусть прошло для него время познания истины, и он отчаится навсегда узреть ее обетованную землю, но пусть же не смешивает он себя с истиною и не думает, что если она не для него, то уже и ни для кого. Но как же, скажут, верить, если вся действительность есть отрицание всякой веры?.. Действительность? – Но что такое действительность, если не осуществление вечных законов разума? Всякая другая действительность – временное затмение света разума, болезненный витальный процесс, – а разве может быть вечное затмение солнца, разве солнце не является после затмения в большем блеске и большей лучезарности; разве страдание, претерпеваемое младенцем при прорезывании зубов, бывает продолжительно и не составляет необходимого временного зла для продолжительного добра? Скажут: младенцы часто умирают от процессов физического развития. Правда, умирают младенцы, которые подчинены необходимо болезненным процессам органи-

ческого развития и которые смертны, но не человечество, которое подчинено болезненным процессам исторического развития и которое бессмертно. Надо уметь отличать разумную действительность, которая одна действительна, от неразумной действительности, которая призрачна и преходяща. Вера в идею спасает, вера в факты губит. Есть люди, которые отрицают добродетель и достоинство женщины, потому что случай сводил их все с пустыми и легкими женщинами, потому что они не знали ни одной женщины высшей натуры. И это безверие, как проклятие, служит достойным наказанием безверию, ибо в душе благодатной должен заключаться идеал женщины, – в действительности же должно искать не идеала, а только осуществления идеала; найти или не найти его, это дело случая. То же можно сказать и о людях, чей разложение и гниение элементов старрой общественности, продажность, нравственный разврат и оскудение жизни и доблести в современном – заставляють отчаиваться за будущую участь человечества... Здесь, очевидно, демон губит их на факте, за кото-



рым они не видят идеи, не понимая, что умирает и гниет только отжившее, чтоб уступить место новому и живому. Если б вместо того, чтоб испугаться демона, они испытали его, он указал бы им на последнее время умиравшей древности, которая в амфитеатрах своих тешилась кровавым зрелищем, как звери терзают христиан, и которая, в слепоте своей, не подозревала, что этою победою над мучениками она сама была побеждена с своими уже опошлившимися богами... Тогда они поняли бы, что смерть старой истины еще не означает смерти истины вообще... Демон, по своей демонической натуре, зол и насмешлив. Он презирает бессилие и веселится, терзая его; но он уважает силу и сторицею воздаст ей за временное зло, которым ее терзает. Он служит и людям и человечеству, как вечно движущая сила духа человеческого и исторического. То страшный и мрачный, то веселый и злой, он, как Протей, неистощим в формах своего проявления, как Антей, неистощим в своих средствах. Он внушал Сократу откровения его нравственной философии и помогал ему дурачить софистов их же обоюдоострым

оружием. Он внушал Аристофану его комедии; он нашептывал ритору Лукиану его «Диалоги богов»; он помог Колумбу открыть Америку; он изобрел порох и книгопечатание; он продиктовал Ульриху Гуттену его злую сатиру «*Epistolae obscurorum virorum*»[3]; Бомарше – его «Фигаро», и много философских сказок и сатирических поэм продиктовал он Вольтеру; он уничтожил ошейники вассалов и рыцарские разбои феодальных баронов, священную инквизицию и благочестивое аутодафе. Гёте схватил его только за хвост в своем Мефистофеле, а в лицо только слегка заглянул ему. Зато колоссальный Байрон не трепеща смотрел ему в очи и гордо мерялся с ним силою духа и, как равный равному, подал ему руку на вечную дружбу. Из русских поэтов первый познакомился с ним Пушкин, и тягостно было ему его знакомство, и печальны «были его встречи с ним... Он не пал от него; но и не узнал, не понял его... И не удивительно: ничто не делается вдруг. Зато другой русский поэт, явившийся уже по смерти Пушкина, не испугался этого страшного гостя: он знаком был с ним еще с детства, и его

фантазия с любовью лелеяла этот «могучий образ», для него:

*Как царь немой и гордый, он сиял  
Такой волшебной-сладкой красо-  
тою,  
Что было страшно...{14}*

Он был избранным героем пламенного бреда его юности, и ему посвятил он целую поэму, где за все утраченные блага жизни этот страшный герой сулит открыть «пучину гордого познания»...

Человек страшится только того, чего не знает; знанием побеждается всякий страх. Для Пушкина демон так и остался темною, страшною стороною бытия, и таким является он в его созданиях. Поэт любил обходить его, сколько было возможно, и потому он не высказался весь и унес с собою в могилу много нетронутых струн души своей; но, как натура сильная и великая, он умел, сколько можно было, вознаградить этот недостаток, тогда как другие поэты, вышедшие с ним вместе на поэтическую арену, пали жертвою неузнанного и неразгаданного ими духа, и для них навсегда мысль осталась врагом чувства, ис-

тина – бичом счастья, а мечта и ребяческие сны поэзии – высшим блаженством жизни...

Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит г. Баратынскому. Несмотря на его вражду к мысли, он, по натуре своей, призван быть поэтом мысли. Такое противоречие очень понятно: кто не мыслитель по натуре, тот о мысли и не хлопчет; борется с мыслию тот, кто не может овладеть ею, стремясь к ней всеми силами души своей. Эта невыдержанная борьба с мыслию много повредила таланту г. Баратынского: она не допустила его написать ни одного из тех творений, которые признаются капитальными произведениями литературы, и если не навечно, то надолго переживают своих творцов.

Взглянем теперь на некоторые стихотворения г. Баратынского со стороны мысли. В послании к Г-чу поэт говорит:

*Враг суетных утех и враг утех позорных,  
Не уважаешь ты безделок стихотворных,  
Не угодит тебе сладчайший из*

*певцов*

*Развратной прелестью изнеженных стихов:*

Возвышенную цель поэт избрать обязан.

Затем он объясняет Г-чу, почему не может принять его вызова —

*оставить мирный слог*

*И, едкой желчью напитывая*

*строки,*

*Сатирию восстать на глупость и*

*пороки.*

И чем же? – тем, что сатирию можно нажить себе врагов, а благодарность общества – плохая благодарность, ибо он, поэт, не верит благодарности. Вот заключение этого стихотворения:

*Нет, нет! разумный муж идет*

*путем иным,*

*И снисходительный к дураче-*

*ствам людским,*

*Не выставляет их, но сносит бла-*

*гонравно,*

*Он не пытается, уверенный забав-*

*но*

*Во всемогуществе болтанья свое-  
го,  
Им в людях изменить людское  
естество,  
Из нас, я думаю, не скажет ни  
единый  
Осине: дубом будь, иль дубу: будь  
осиной;  
Меж тем – как странны мы! –  
меж тем любой из нас  
Переиначить свет задумывал не  
раз.*

Подобные мысли, без сомнения, очень благо-  
горазумны и даже благонравны, но едва ли  
они поэтически-великодушны и рыцар-  
ски-высоки... Благоразумие не всегда разум-  
ность: часто бывает оно то равнодушием и  
апатию, то эгоизмом. Но вот еще несколько  
стихов из этого же стихотворения:

*Полезен обществу сатирик бес-  
пристрастный,  
Дыша любовью к согражданам  
своим,  
На их дурачества он жалуется  
им:  
То укоризнами восстав на злодея-*

нье,  
Его приводит он в благое содрога-  
нье,  
То едкой силою забавного словца  
Смиряет попрыхи надменного  
глупца;{15}  
Он нравов опекун и вместе прав-  
ды воин.

Сличив эти стихи с приведенными выше, легко понять, почему такое стихотворение, даже если бы оно было написано и хорошими стихами, не может теперь читаться...

«На смерть Гёте» есть одно из лучших между мелкими стихотворениями г. Баратынского. Стихи в нем удивительны; но стихотворение, несмотря на то, не выдержано и потому не производит того впечатления, какого бы можно было ожидать от таких чудесных стихов. Причина этого очевидна: неопределенность идеи, неверность в содержании. Поэт слишком много и слишком бездоказательно приписал Гёте, говоря, что

*...ничто не оставлено им  
Под солнцем живым без привета;  
На все отозвался он сердцем сво-*

*им,  
Что просит у сердца ответа:  
Крылатою мыслью он мир обле-  
тел,  
В одном беспредельном нашел он  
предел.{16}*

Прекрасно сказано, но несправедливо! Не было, нет и не будет никогда гения, который бы один все постиг или все сделал. Так и для Гёте существовала целая сторона жизни, которая, по его немецкой натуре, осталась для него terra incognita.[4] Эту сторону выразил Шиллер. Оба эти поэта знали цену один другому, и каждый из них умел другому воздавать должное. Обидно видеть, как люди, не понимая дела, все отдают Гёте, все отнимая у Шиллера... Если уж надо сравнивать друг с другом этих поэтов, то, право, еще не решенное дело, кто из них долее будет владычествовать в царстве будущего; и многие не без основания догадываются уже, что Гёте, поэт прошедшего, в настоящем умер развенчанным царем... Вместо безотчетного гимна Гёте поэту следовало бы охарактеризовать его, – и он сделал это только в четвертом куплете, в



котором довольно удачно схвачен пантеистический характер жизни и поэзии Гёте:

*С природой одною он жизнью дышал:*

*Ручья разумел лепетанье,  
И говор древесных листов понимал*

*И чувствовал трав прозябанье,  
Была ему звездная книга ясна,  
И с ним говорила морская волна.*

Следующие затем заключительные куплеты слабы выражением, темны и неопределенны мыслию, а потому и разрушают эффект всего стихотворения. Все, что говорится в пятом куплете, так же может быть применено ко всякому великому поэту, как и к Гёте; а что говорится в шестом, то ни к кому не может быть применено за темнотою и сбивчивостию мысли.

Теперь обратимся к поэмам г. Баратынского. В них много отдельных поэтических красот; но в целом ни одна не выдержит основательной критики.

Русский молодой офицер, на постое в Финляндии, обольщает дочь своего хозяина, чухон-

ночку Эду, – добродушное, любящее, кроткое, но ничем особенным не отличное от природы создание. Покинутая своим обольстителем, Эда умирает с тоски. Вот содержание «Эды» – поэмы, написанной прекрасными стихами, исполненной души и чувства. И этих немногих строк, которые сказали мы об этой поэме, уже достаточно, чтоб показать ее безотносительную неважность в сфере искусства. Такого рода поэмы, подобно драмам, требуют для своего содержания *трагической коллизии*, – а что трагического (то есть поэтически-трагического) в том, что шалун обольстил девушку и бросил ее? Ни характер такого человека, ни его положение не могут возбудить к нему участия в читателе. Почти такое же содержание, например, в повести Лермонтова «Бэла»; но какая разница! Печорин – человек, пожираемый страшными силами своего духа, осужденного на внутреннюю и внешнюю бездейственность; красота черкешенки его поражает, а трудность овладеть ею раздражает энергию его характера и усиливает очарование ожидающего его счастья; холодность Бэлы еще более подстрекает его страсть, вместо

того чтоб ослабить ее. Но когда он упился первыми восторгами этой оригинальной любви к простой и дикой дочери природы, он почувствовал, что для продолжительного чувства мало одной оригинальности, для счастья в любви мало одной любви, – и его начинает терзать мысль о гибели милого, хотя и дикого, женственного существа, которое, в своей естественной простоте, не умело ни требовать, ни дать в любви ничего, кроме любви. Трагическая смерть Бэлы, вместо того, чтоб облегчить положение Печорина, страшно потрясает его, с новою силою возбуждая в нем вспышку прежнего пламени, – и от его дикого хохота содрогается сердце не у одного Максима Максимыча, и становится понятно, почему он после смерти Бэлы долго был нездоров, весь исхудал и не любил, чтоб при нем говорили о ней... Это не волокита, не водевильный дон-Хуан, вы не вините его, но страдаете с ним и за него, говоря мысленно: «О горе нам, рожденным в свет!» Для некоторых характеров не чувствовать, быть вне какой бы то ни было духовной деятельности хуже, чем не жить; а жить – это больше чем страдать, –

и вот является трагическая коллизия, как мысль неотразимой судьбы, достойная и поэмы и драмы великого поэта... Гораздо глубже, по характеру героини, другая поэма г. Баратынского – «Бал»:

*Презренья к мнению полна,  
Над добродетелию женской  
Не насмехается ль она,  
Как над ужимкой деревенской?  
Кого в свой дом она манит;  
Не записных ли волокит,  
Не новичков ли миловидных?  
Не утомлен ли слух людей  
Молвой побед ее бесстыдных  
И соблазнительных связей?  
Но как влекла к себе всеильно  
Ее живая красота!  
Чьи непорочные уста  
Так улыбалися умильно?  
Какая бы Людмила ей,  
Смирясь, лучей благочестивых  
Своих лазоревых очей  
И свежести ланит стыдливых  
Не отдала бы сей же час  
За яркий глянец черных глаз,  
Облитых влагой сладострастной,  
За пламя жаркое ланит?*

*Какая фея самовластной  
Не уступила б из харит?*

*\* \* \**

*Как в близких сердцу разговорах  
Была пленительна она!  
Как угодительно-нежна!  
Какая ласковость во взорах  
У ней сияла! Но порой  
Ревнивым гневом пламенея,  
Как зла в словах, страшна собой,  
Являлась новая Медея!  
Какие слезы из очей  
Потом катилися у ней!  
Терзая душу, проливали  
В нее томленья слезы те:  
Кто б не отер их у печали.  
Кто б не оставил красоте?*

*\* \* \**

*Страшишь прелестницы опасной,  
Не подходи: обведена  
Волшебным очерком она;  
Кругом ее заразы страстной  
Исполнен воздух! Жалок тот,  
Кто в сладкий чад его вступает:*

*Ладью пловца водоворот  
Так на погибель увлекает!  
Беги ее: нет сердца в ней!  
Страшися вкрадчивых речей  
Одуревающей приманки;  
Влюбленных взглядов не лови:  
В ней жар упившейся вакханки,  
Горячки жар – не жар любви.*

И этот демонический характер в женском образе, эта страшная жрица страстей, наконец, должна расплатиться за все грехи свои:

*Посланник рока ей предстал.  
Смущенный взор очаровал,  
Поработил воображенье,  
Слиял все мысли в мысль одну  
И пролил страстное мученье  
В глухую сердца глубину.*

В этом «посланнике рока» должно предполагать могучую натуру, сильный характер, – и в самом деле портрет его, слегка, но резко очерченный поэтом, возбуждает в читателе большой интерес:

*Красой изнеженной Арсений  
Не привлекал к себе очей:  
Следы мучительных страстей,*

Следы печальных размышлений  
Носил он на челе: в очах  
Беспечность мрачная дышала,  
И не улыбка на устах —  
Усмешка праздная блуждала.  
Он незадолго посещал  
Края чужие; там искал,  
Как слышно было, развлеченья,  
И снова родину узрел;  
Но видно, сердцу исцеленья  
Дать не возмог чужой предел.  
Предстал он в дом моей Лаусы,  
И остряков задорный полк  
Не знаю как пред ним умолк —  
Главой поникли Адонисы.  
Он в разговоре поражал  
Людей и света знаньем редким,  
Глубоко в сердце проникал  
Лукавой шуткой, словом едким,  
Судил разборчиво певца,  
Знал цену кисти и резца,  
И сколько ни был хладно-сжа-  
тым  
Привычный склад его речей,  
Казался чувствами богатым  
Он в глубине души своей.

Нашла коса на камень: узел трагедии завязался. Любопытно, чем развяжет его поэт и

как оправдывает он в *действии* портрет своего героя. Увы! все это можно рассказать в коротких словах: Арсений любил подругу своего детства и приревновал ее к своему приятелю; на упреки его Ольга отвечала детским смехом, и он, как обиженный ребенок, не понимая ее сердца, покинул ее с презрением... Воля ваша, а портрет неверен!.. Что же потом? – Потом Нина получила от него письмо:

*Что ж медлить (к ней писал Арсений)*

*Открыться должно... небо!  
в чем?*

*Едва владею я пером,  
Ищу напрасно выражений.*

*О, Нина! Ольгу встретил я;  
Она поныне дышит мною,*

*И ревность прежняя моя  
Была неправой и смешною.*

*Удел решен. По старине  
Я верен Ольге, верной мне.*

*Прости! твое воспоминанье  
Я сохраню до поздних дней:*

*В нем понесу я наказанье  
Ошибок юности моей.*

Несмотря на трагическую смерть Нины,



которая отравилась ядом, *такая* развязка *такой* завязки похожа на водевиль, вместо пятого акта приделанный к четырем актам трагедии... Поэт, очевидно, не смог овладеть своим предметом... А сколько поэзии в его поэме, какими чудными стихами наполнена она, сколько в ней превосходных частных!..

«Цыганка», самая большая поэма г. Баратынского, была издана им в 1831 году под названием «Наложница», с предисловием, весьма умно и дельно написанным.<sup>{17}</sup> «Цыганка» исполнена удивительных красот поэзии, но опять-таки в частностях; в целом же не выдержана. Отравительное зелье, данное старую цыганкою бедной Саре, ничем не объясняется и очень похоже на *deus ex machina*<sup>[5]</sup> для трагической развязки во что бы то ни стало. Чрез это ослабляется эффект целого поэмы, которая, кроме хороших стихов и прекрасного рассказа, отличается еще и выдержанностью характеров. Очевидно, что причину недостатка в целом всех поэм г. Баратынского есть отсутствие определенно выработавшегося взгляда на жизнь, отсутствие мысли крепкой и жизненной.

Кроме этих трех поэм, у г. Баратынского есть и еще три: «Телема и Макар», «Переселение душ» и «Пирь». Первых двух, признаемся откровенно, мы совершенно не понимаем – ни со стороны содержания, ни со стороны поэтической отделки. «Пирь», собственно, не поэма, а так – шутка в начале и элегия в конце. Поэт, как будто только принявшись воспевать пирь, заметил, что уже прошла пора и для пиров и для воспевания пиров... У времени есть своя логика, против которой никому не устоять... В «Пирах» г. Баратынского много прекрасных стихов. Как мила, например, эта характеристика нашей доброй Москвы:

*Как не любить родной Москвы!  
Но в ней не град первопрестольный,  
Не золоченые главы,  
Не гул потехи колокольной,  
Не сплетни вестницы-молвы  
Мой ум пленяли своевольный.  
Я в ней люблю весельчаков,  
Люблю роскошное довольство  
Их продолжительных пиров,  
Богатой знати хлебосольство  
И дарованья поваров.*

*Там прямо веселы беседы;  
Вполне уважен хлебосол;  
Вполне торжественны обеды;  
Вполне богат и лаком стол. —*

и прочее. Г. Баратынского за эту поэму некогда величали «певцом пиров»: мы думаем, что за этот отрывок его следовало бы называть «певцом Москвы»... Как хороши эти стихи в «Пирах»:

*Любви слепой, любви безумной  
Тоску в душе моей тая,  
Насилу, милые друзья,  
Делить восторг беседы шумной  
Тогда осмеливался я.  
Что потакать мечте унылой,  
Кричали вы, смелее пей!  
Развеселись, товарищ милый,  
Для нас живи, забудь о ней!  
Вздыхнув рассеянно послушный,  
Я пил с улыбкой равнодушной;  
Светлела мрачная мечта,  
Толпой скрывались печали,  
И задрожавшие уста  
«Бог с ней!» невнятно лепетали...*

Говоря о поэзии г. Баратынского, мы были чужды всяких предубеждений в отношении к

поэту, которого глубоко уважаем. Не скрывая своего мнения и открыто, без уклончивости, высказывая его там, где оно было не в пользу поэта, мы и не старались, в пользу нашего мнения, скрывать его достоинства, и выписывали только такие отрывки из его стихотворений, которые могли дать высокое понятие о его таланте. Стих г. Баратынского не только благозвучен, но часто крепок и силен. Однако, говоря о художественной стороне поэзии г. Баратынского, нельзя не заметить, что он часто грешит против точности выражения, а иногда впадает в шероховатость и прозаичность выражения. Вот несколько примеров:

*Снять поспешила как-нибудь  
Дня одаяния неловки.*

\* \* \*

*Что знаменует сей позор (вм.  
зрелище),*

\* \* \*

*Хотело б сердце у нее  
Себе избрать кумир единый,*

*И тем осмыслить бытие.*

*\* \* \**

*... Скажите:  
Я равнодушен вам, иль нет?*

*\* \* \**

*Всегда дарам своим предложит  
Условье некое она  
Которым злобно-смышлена,  
Их отравит иль уничтожит.*

*\* \* \**

*Проказы жизни боевой  
Никак веселые проказы.*

*\* \* \**

*Храни свое неопасенье,  
Свою неопытность лелей.*

*\* \* \**

*Какое же потом в груди твоей  
Ни водворится озаренье,*

Чем дум и чувств ни разрешится  
в ней  
Последнее вихревозвращенье.

Кроме стихотворений, на которые мы уже ссылались, в сборнике г. Баратынского особенно достойны памяти и внимания еще следующие: «Финляндия»; «Завыла буря»; «Я возвращуся к вам, поля моих отцов»; «Лета»; «Падение листьев»; «Глупцы не чужды вдохновенья»; «Когда печалью вдохновенный»; «Тебя из тьмы не изведу я»; «Идиллик новый на искус»; «Элизийские поля»; «Когда взойдет денница золотая»; «Когда исчезнет омраченье»; «Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти»; «Не бойся едких осуждений»; «Разуверение»; «Старик»; «Притворной нежности не требуй от меня»; «Болящий дух врачует песнопенье»; «Череп», «О мысль, тебе удел цветка»; «Наяда»; «Мудрецу»; «На что вы, дни!»; «Осень» и проч.

Нельзя вернее и беспристрастнее охарактеризовать безотносительное достоинство поэзии Г: Баратынского, как он сделал это сам в следующем прекрасном стихотворении;

*Не ослеплен я музою моею,  
Красавицей ее не назовут,*

*И юноши, узрев ее, за нею  
Влюбленную толпой не побегут.  
Приманивать изысканным убо-  
ром,  
Игрою глаз, блестящим разгово-  
ром,  
Ни склонности у ней, ни дара нет,  
Но поражен бывает мельком  
свет  
Ее лица необщим выраженьем,  
Ее речей спокойной простотой,  
И он, скорей чем едким осужде-  
ньем,  
Ее почитит небрежной похвалой.*

Не берем на себя тяжелой обязанности определять поэтическое достоинство г. Баратынского *относительно* к другим поэтам и в отношении историческом, то есть в отношении к выраженной им эпохе, к настоящему и будущему положению и значению его в русской литературе. Скажем только – и то, чтоб чем-нибудь закончить нашу статью, а не для какого-нибудь поучительного вывода, – скажем, что все поэты, по нашему мнению, разделяются на два разряда. Одни называются великими, и их отличительную черту состав-

ляет *развитие*: по хронологическому порядку их созданий можно проследить диалектически развивающуюся живую идею, лежащую в основании их творчества и составляющую его пафос. Неподвижность, то есть пребывание в одних и тех же интересах, воспевание одного и того же, одним и тем же голосом, есть признак таланта обыкновенного и бедного. Бессмертие – удел движущихся поэтов. Если и прошли навсегда интересы их времени, – их поэзия непреходяща именно потому, что представляет собою памятник эпохи: так вечна история, написанная великим историком, хоть она и содержит в себе давно прошедшие дела и интересы. Другие поэты более или менее могут приближаться к первым, особенно если они выразили своими созданиями то, что было в их эпохе существенно-исторического, а не одни ее недостатки. Для таких поэтов всего невыгоднее являться в переходные эпохи развития обществ; но истинная гибель их таланта заключается в ложном убеждении, что для поэта довольно чувства... Это особенно вредно для поэтов нашего времени: теперь все поэты, даже великие, долж-



ны быть вместе и мыслителями, иначе не поможет и талант... Наука, живая, современная наука, сделалась теперь пестуном искусства, и без нее – немощно вдохновение, бессилён талант!..

# Примечания

«**О**течественные записки», 1842, т. XXV, № 12, отд. V, стр. 49–70 (ценз. разр. около 30 ноября 1842). Без подписи.

Е. А. Баратынский вошел в историю русской литературы как крупнейший поэт пушкинской «плеяды». Поэт высокой интеллектуальной культуры, «поэт мысли» – такова была общепризнанная репутация Баратынского у современников.

Статья Белинского была первой серьезной попыткой разобраться во всем творчестве Баратынского и определить его место в истории русской литературы. До этого Белинский вскользь говорил о Баратынском в «Литературных мечтаниях» (1834) и более обстоятельно – в рецензии 1835 г. (см. т. I наст. изд.).

Поводом к настоящей статье явился сборник стихотворений Баратынского «Сумерки» (1842). Это была последняя книга стихов поэта, по существу завершившая весь его творческий путь. Таким образом, эта статья Белинского оказалась итоговой в характеристи-

ке всего творчества Баратынского.

Определяя историческое место Баратынского в русской поэзии, Белинский отмечает в нем «яркий, замечательный талант», и ставит его на «первое место» среди поэтов, вошедших в литературу вместе с Пушкиным. В качестве положительной черты критик отмечает преобладание в поэзии Баратынского мысли, которая «вышла не из праздной мечтательной головы, а из глубоко истерзанного сердца».

Казалось, в Баратынском есть все, чего так не хватало и Майкову, и Полежаеву. Все же поэзия Баратынского во многом не удовлетворяет Белинского.

Белинский указывает, что элегический характер поэзии Баратынского происходит от думы, «от взгляда на жизнь». Дело, однако, в том, что «дума» Баратынского ложна. В ее основе лежит убеждение в гибельности для искусства просвещения, науки, прогресса, человеческого разума. Отсюда – глубокая безысходность элегического чувства в поэзии Баратынского, вступающего в трагический конфликт с разумом. Белинский сопоставляет Ба-

ратынского с Пушкиным, которому было также свойственно ощущение трагического противоречия между разумом и чувством. Но «Демон» у Пушкина – лишь эпизод; все же его творчество проникнуто жизнеутверждающим пафосом, радостным чувством, мощной и светлой верой в победу человеческого разума. Баратынский же, столкнувшись с противоречиями действительности, проникся сознанием бессмысленности жизни, верой в бесплодность и тщету разума. Беда Баратынского состоит в том, что он был лишен «веры в идею». Таким образом, поэзия Баратынского, сделавшись «органом ложного направления», лишилась «той силы, которую мог бы сообщить ей талант поэта». Таков вывод Белинского.

Настоящая статья имеет большое значение для понимания общего характера умонастроения Белинского в 1842 году. Критик пришел к выводу, что действительность – это «осуществление вечных законов разума». Но бывают периоды в истории народа, когда свет разума временно затмевается, этот период непродолжителен, так же как затмение солн-

ца. Зато после него наступает еще более яркое торжество разума. Идея отрицания приводит Белинского к убеждению в неуклонном поступательном движении человеческой истории, ибо на смену отжившему и гнилому неизбежно должно прийти новое и живое. И Белинский формулирует важный итог: «Надо уметь отличать разумную действительность, которая одна действительна, от неразумной действительности, которая призрачна и преходяща». В переводе на политический язык этот вывод означал окончательное осознание Белинским, что ненавистная ему «расейская действительность» «призрачна и преходяща». Этот вывод был озарен страстной революционной верой Белинского в неизбежное торжество разума на земле. Но какими же путями человечество придет к этому торжеству? В подцензурной статье Белинский не мог, разумеется, даже поставить такой вопрос. Но в его письмах этого периода мы находим ответы весьма недвусмысленные (см., например, знаменитое письмо к Боткину – «Письма», т. II, стр. 305).

Статья о Баратынском – замечательный

пример того, как мысль Белинского из сферы, казалось, отвлеченно эстетической настойчиво рвалась на простор широких социальных обобщений, как на материале искусства Белинский ставил важнейшую политическую проблему современности.

Не случайно он придавал такое большое значение этой статье.

В письме к Боткину от 23 ноября 1842 года он сообщает, что обещал Краевскому написать о Баратынском «с поллиста», но, «забывшись, хватил слишком листик, а статья все-таки вышла сжата и отрывочна до бестолковщины» («Письма», т. II, стр. 319). Белинский мучительно испытывал на себе гнет цензуры. «Забывшись» он далеко вышел за пределы частной темы статьи и вторгся в область, в которой ему неминуемо угрожал беспощадный нож цензора. Поэтому приходилось обрывать себя на полуслове, говорить сжато, намеками, комкать самое важное, главное. В этом смысле Белинский был недоволен статьей. Он полагал, что она могла бы быть еще более острой. Но две недели спустя Белинский снова напоминает Боткину об

этой статье. В письме от 9 декабря 1842 года он спрашивает Боткина: «Как понравилась тебе моя статья о Баратынском? Она скомкана, свалена, а кажется, чуть ли не из лучших моих мараний» («Письма», т. II, стр. 328).

Следует сказать, что эта статья вызвала резкие отклики в некоторых кругах реакционной и либерально-буржуазной критики конца XIX века. Ее расценивали как попытку Белинского чуть ли не вычеркнуть Баратынского из истории русской литературы, как пример грубой эстетической ошибки великого критика (С. Андреевский, В. Саводник и др.). Нет нужды доказывать здесь вздорность подобных утверждений. Белинский отнюдь не обесценил значение творчества Баратынского. Например, он очень высоко отзывался о таланте поэта. Но в своем анализе Белинский вскрыл внутреннюю противоречивость и ограниченность мировоззрения Баратынского, мешавшие ему создать произведения, которые соответствовали бы возможностям его «яркого, замечательного таланта».

В последующие годы Белинский не раз возвращался к имени Баратынского. Наиболее

значительные отзывы см. в статьях «Русская литература в 1842 году» и «Русская литература в 1844 году».



# Сноски

## 1

БЫВШИЙ. – *Ред.*

[^^^]

## 2

Исповедание веры. – *Ред.*

[^^^]

## 3

«Письма темных людей». – *Ред.*

[^^^]

## 4

Неведомой землей. – *Ред.*

[^^^]

## 5

Бога из машины. – *Ред.*

[^^^]

[^^^]

# Комментарии

## 1

«Моментальное развитие» – в смысле определенного момента, этапа развития. Белинский еще окончательно не отказался от характерной для периода его увлечения Гегелем фразеологии.

[^^^]

## 2

Из песни Н. М. Карамзина «Доволен я судьбою...».

[^^^]

### 3

Из песни И. И. Дмитриева.

[^^^]

### 4

О Жуковском см. примеч. 213 в т. III наст. изд.

[^^^]

### 5

См. примеч. 160 в наст. томе.

[^^^]

## 6

См. примеч. 43 в наст. томе.

[^^^]

## 7

Трагедии В. А. Озерова.

[^^^]

## 8

Все это относится к Н. Полевому, к которому Белинский стал относиться резко отрицательно, после того как тот переметнулся в конце 30-х годов в лагерь реакции. Ср., например, письмо Белинского к Боткину от 18 февраля 1840 года: «Поверишь ли, Боткин, что Полевой сделался гнуснее Булгарина. Это человек, готовый на все гнусное и мерзкое, ядовитая гадина, для раздавления которой я обрекаю себя, как на служение истине» («Письма», т. II, стр. 42). В 1842 году отношения Белинского к Полевому обострились еще более в связи

со статьей последнего о «Мертвых душах» («Русский вестник», 1842, № 5–6, «Критика», стр. 33–57).

[^^^]

## 9

Роман Булгарина.

[^^^]

## 10

Подобные взгляды развивал Руссо в ряде работ (например, в «Рассуждении о науках и искусствах», 1750, и др.).

[^^^]

## 11

Эта строка не точно процитирована, у Баратынского: «Есть хмель ему на празднике мирском» («Сумерки», М., 1842, стр. 64).

[^^^]

## 12

Снова не точно процитировано. Надо: «Явись тогда! раскрой тогда мне очи» («Стихотворения», М., 1835, ч. I, стр. 18).

[^^^]

## 13

В «Отечественных записках» по явному недосмотру напечатано: «Свершилася живущая судьбина».

[^^^]

## 14

Цитата из «Сказки для детей» Лермонтова. Ниже Белинский говорит о «Демоне» Лермонтова.

[^^^]



## 15

Строка не точно процитирована. У Баратынского: «Смиряет попыхи надутого глупца» («Стихотворения», ч. I, стр. 58).

[^^^]

## 16

У Баратынского: «В одном беспредельном нашел ей предел» («Стихотворения», ч. I, стр. 213).

[^^^]

Эта, по выражению Баратынского, «ультра-романтическая» поэма имела в свое время шумную историю. Она была первоначально издана под названием «Наложница». Баратынский сопроводил поэму предисловием, которое в остром полемическом тоне отстаивало принципы романтической поэзии (об этом предисловии Белинский и говорит, что оно написано весьма умно и дельно). Поэма, равно как и предисловие вызвали против Баратынского многочисленные нападки в печати, в частности со стороны Надеждина, Полевого и др. Баратынский обвинялся в безнравственности, в натуралистическом изображении порока. Его даже попрекали за безнравственное название поэмы. Отвергая обвинения, Баратынский выступил с «Антикритикой» («Европеец», 1832, № 3). В 1842 году, после статьи Белинского, Баратынский переработал поэму и дал ей новое название – «Цыганка»

[^^^]